

Глава 4. Жизнь без отца

Заканчивался страшный для нашей семьи високосный 1928 год. Середина декабря, похороны. С утра небо было сумрачным, низким, затянутым мохнатыми тучами. Тяжёлыми, влажными хлопьями падал снег. На католическом кладбище Саратова могильные плиты родных: бабушки, дедушки, Ромочки. Знакомая ель, опустившая под тяжестью снега свои лохматые лапы. Сколько раз мы всей семьёй, а иногда только с мамой, приходили сюда. И каждый раз лёгкая грусть охватывала меня, появлялась и исчезала мысль о смерти. Но никогда не думал я, что здесь, совсем рядом, будут хоронить моего отца. И вот настал этот час. Могила. Открытый, продуваемый холодным, сырым ветром гроб и в нём отец!

Я стоял, вцепившись в мамину заледеневшую руку, и смотрел, как на его застывшее в предсмертной муке лицо ложатся снежинки. Ложатся и не тают. Мне казалось это ужасным. Всем своим существом чувствовал я, как холодно ему. Умер и нет его с нами, и мы совсем одиноки. Но почему именно он, мой папочка? Ведь я так просил Бога сжалиться над ним, так молился. Почему Он, всемилостивый и всемогущий, не внял моим мольбам, неужели Он так жесток? А теперь отца зароят, и останемся мы одни, совсем одни. Вот уже комья земли стучат по крышке гроба. Нет! Нет!

Когда мы возвращались с кладбища домой, я в отчаянии снова и снова просил Бога вернуть мне отца, и втайне надеялся, что, когда мы войдём, он встанет нам навстречу, здоровый и улыбающийся. Нет, пусть хоть какой, лишь бы живой. Но ничего этого не случилось. Дома нас ждали пустые, холодные комнаты и незнакомые чужие люди, зачем-то накрывающие в зале длинные и узкие столы. Мог ли я продолжать верить в Бога? Мог ли продолжать молиться? К утру начался озноб, поднялась температура, перед глазами то и дело возникали и разбегались разноцветные концентрические окружности. И нервная зевота, которую я всеми силами пытался сдержать, так как боялся, что с третьим вздохом, как и у папочки, вылетит моя душа. Ни врачи, ни лекарства, ни даже гипнотизер не помогли мне. Как всегда, вылечило время. К весне я уже снова мог нормально воспринимать окружающий мир, мог снова радоваться и огорчаться.

А в это время в стране происходили существенные перемены. Был ликвидирован НЭП и провозглашен курс на индустриализацию и коллективизацию страны, усилились репрессии. Страна возвращалась в русло бестоварного социализма. Была запрещена

частная торговля хлебом, появились заградотряды, не пропускавшие обозы с хлебом в города. Хлеб не продавался, а изымался и распределялся. Практически восстанавливалась продразверстка, только именовалось это теперь государственным плановым заданием. Более того, если «военный коммунизм» только отнимал хлеб у крестьянина, а свобода пахать и сеять всё же оставалась, то теперь крестьянин был лишен и этого.

В том же году во всех городах России была введена карточная система распределения продуктов. При этом многие считали эту форму обеспечения населения соответствующей духу социализма и поэтому более справедливой, т.к. теперь нэпманы уже не могли «обжираться за счет трудового народа». Для оказания «помощи» в коммунистическом преобразовании деревни руководство страны направило туда 25 тысяч промышленных рабочих, в первую очередь, коммунистов. Началось принудительное обобществление домов, мелкого скота и даже домашней птицы. В деревнях усилились гонения на зажиточных крестьян. В феврале-марте 30-го года началось массовое раскулачивание. Страна покрылась сетью лагерей, посёлками «спецпоселенцев». Сотни тысяч бывших хлеборобов, насильственно оторванных от земли, становились бесплатной рабочей силой на стройках пятилетки.

Менялся облик Саратова. На центральных улицах города всё меньше и меньше оставалось реклам, с витрин исчезли сначала предметы роскоши, так раздражавшие многих горожан, а затем даже самые необходимые товары. Закрывались экспроприированные у нэпманов магазины и рестораны. На улице Немецкой закрылась любимая детворой кондитерская Филиппова, в которой продавали такие вкусные пирожные и вафли-трубочки с божественным кремом. Практически исчезли извозчики-лихачи, не слышно стало их призывных криков: «Эй, прокачу!». Появились очереди, которые от месяца к месяцу становились длиннее. Заметно прибавилось красных полотнищ, вдоль и поперёк исчертивших центральные улицы города. С полотнищ партия разными по величине и начертанию буквами призывала горожан выполнить пятилетку в четыре года, осуществить индустриализацию и коллективизацию страны, изничтожить буржуев, кулаков и вредителей. Лица людей стали более сосредоточенными и суровыми.

Для нашей семьи после смерти отца начались трудные дни. На лечение, похороны, могильную плиту ушли все сбережения, появились долги. Жили на пенсию за отца и деньги, которые платили две семьи, жившие в выходящем на улицу доме. Рассчитывать на материальную помощь родственников, особенно по папи-

ной линии, не приходилось, ибо сами они переживали труднейшие дни. У дяди Феди отобрали мастерскую, хотя работал он в ней один и никогда никаких рабочих не нанимал. А у него больная жена и двое детей: сын Виктор и дочь Ольга. Только через год устроился он, наконец, переплётчиком при фундаментальной библиотеке Саратовского университета. У дяди Карлуши, которому в 1929 году исполнилось 63 года, на иждивении четыре человека: жена, две дочери и старшая сестра - тётя Амалия. В семье дяди Эдуарда после его смерти остались две дочери, и их мать с трудом сводила концы с концами. Тётя Лена уехала в Казахстан, куда был выслан её муж – Квитковский Константин Яковлевич. Из трёх их сыновей в живых остался Яша. Толя, страдавший туберкулёзом, умер сравнительно молодым. Саша был репрессирован и погиб в лагерях. Тётя Матильда, работавшая кассиром в одном из магазинов Саратова, жила одна.

Помощь пришла от дяди Роберта из Германии. Он, очень любивший свою племянницу, стал присылать нам переводы и посылки, а весной 1929 года приехал сам. Приехал неожиданно, никого не предупредив. Я хорошо помню этот день. Мы завтракали. Вдруг стукнула калитка и залаяла собака. Мама, взглянув в окно, увидела солидного господина с саквояжем в руке. Сначала она испугалась, приняв его за налогового инспектора, но, присмотревшись, узнала, вскрикнула и побежала открывать дверь. Мы сначала ничего не поняли. С кем это обнимается мама, кого целует и почему плачет? Потом настала и наша очередь целоваться. В разговорах прошло минут двадцать, прежде чем мама осторожно поинтересовалась его багажом. Не ехал же он из Германии вот так, налегке. На что дядя совершенно спокойно ответил, что багаж остался на улице у извозчика, который, наверное, догадается занести его в дом. Мама всполошилась и стала объяснять, что сейчас не те времена и, что, скорее всего, извозчика давно уже и след простыл. Каково же было её удивление, когда оказалось, что извозчик всё ещё на месте и только ворчит, что так долго пришлось ждать. На вопрос дяди, почему он не занёс багаж в дом, извозчик резонно заметил:

– Разве можно оставить экипаж (он так и сказал «экипаж») без присмотра, - и выразительным жестом показал на стайку ребятишек, с интересом рассматривавших коляску и два больших кожаных чемодана.

Что привёз дядя - я не знаю, но думаю, что были там и продукты, потому что на некоторое время на столе опять появился сладкий кофе, сыр, колбаса и другие деликатесы. Мне он привёз

игрушечный паровоз, который двигался паром, как настоящий, только в топку вместо дров ставилась спиртовка с тремя фитильками. Паровоз пыхтел и свистел, как настоящий, и бегал по рельсам, таская за собой состав из четырех вагончиков. Когда дядя уезжал, то оставил всё, что возможно, даже плед, которым укрывался в дороге.

И опять будни, тревоги и заботы. Маме, наверное, было очень тяжело. Пенсии хватало только на хлеб. Устраиваться на работу не имело смысла, так как при этом она лишалась пенсии. Со смертью папы Эрночке стало грозить исключение из консерватории, так как она, перестав быть иждивенкой, не работала, а училась в университете. И тогда Петя решился на шаг, по его словам, ему не свойственный: заключил фиктивный брак с Эрночкой. Затем, уйдя с последнего курса университета, добился назначения учителем в Ягодно-Полянский район. Оттуда он прислал Эрночке справку, что она его жена и находится на его иждивении, что позволило ей продолжить учёбу. Прошла зима, закончился учебный год. Отдохнув несколько дней в Саратове, Петя устроился в статуправление, и уехал на разъездные статистические работы по Немреспублике. Эрночка, окончив третий курс педфака, тоже ушла из университета и поступила на педагогические курсы иностранного языка. Обвенчались они первого сентября 1929 года в Саратовской римско-католической церкви (патер Фрейлих). Мама, я и Ляля в это время находились в Крыму, используя последний бесплатный проезд. Лиза на даче.

Комментируя это событие, Петя в своих воспоминаниях пишет: «После венчания маленький праздничный обед в «Астории» (в то время лучший в городе ресторан) в узком кругу друзей. Если бы Софья Освальдовна была дома, то венчание могло и не состояться!. И опять в разные стороны: я в Красный Кут на учительскую работу в среднюю немецкую школу, Эрночка же осталась в городе для сдачи экзаменов».

Помню, как мы с мамой в городском парке «Липки» ожидали окончания её выпускного концерта. Насколько я помню, он состоял из любимых всеми нами произведений Шумана, Листа, Шопена, и мы жалели, что не могли его послушать. Концерт удался. Консерватория была окончена. И теперь перед Эрночкой встал вопрос о дальнейшей семейной жизни. Она, страстно любившая город и городской образ жизни, уговаривала Петю обосноваться в Саратове. Но он настоял на своем: «Жить будем только в деревне, ближе к народу, к нашим истокам и корням». По-видимому, наши семейные проблемы изрядно ему надоели. И вот, отметив дома новый 1930

год, Эрночка поехала к Пете в Красный Кут. Ехала с раздвоенным чувством. С одной стороны, радовалась встрече, а с другой - как огня боялась деревни, деревенского образа жизни, деревенских нравов и пугавшего её в Пете крестьянского, замешанного на грубости и деспотизме, отношения к женщине. В Красном Куте она работала в школе - преподавала музыку и хоровое пение. Но уже осенью, находясь в декретном отпуске, не начиная нового учебного года, вернулась в Саратов.

В эти годы в Саратове, как и во всей стране, резко обострилась политическая обстановка. К репрессиям, направленным против кулаков, нэпманов и служителей культа, добавились преследования технической интеллигенции, управленцев, служащих, обвиняемых в террористических актах, саботаже и вредительстве. По городу ползли слухи о массовых арестах. Одни говорили о них шепотом и со страхом, другие - громко и, торжествуя, третьи, как теперь выяснилось, ничего не слышали и не знали. Мама очень тревожилась. И хотя семья наша ни в каких терактах, саботажах и вредительстве не участвовала, её опасения не были лишены оснований. В 1929-30 годах арестовали многих папиных сослуживцев, а также знакомых служителей культа. Мама ждала, что скоро придут за ней.

Случилось это осенью 1930 года. Тишину ночи прорезал резкий и продолжительный стук. Все вскочили. Мама сразу все поняла и безропотно пошла открывать дверь. Мы с Лялей испуганно выглядывали из детской. Вошли четверо. Один, в черной кожаной куртке, не здороваясь и не обращая никакого внимания на перепуганных, полуодетых и босых жильцов, прошёл по всем комнатам и, не обнаружив никого, кроме нас, громко спросил: «А где хозяин?». После несколько затянувшейся паузы мама растерянно спросила: «Какой хозяин?» - чем до крайности разозлила чекиста. Последовала длинная гневная тирада, из которой мы поняли, что пришли арестовывать папу. Мамину попытку с документами в руках доказать, что папа умер почти два года назад, чекист воспринял как личное оскорбление. Второй из ночных посетителей, в солдатской шинели, расположился на стуле у входной двери. Вытянув натруженные ночными походами ноги в кирзовых сапогах и привалясь на спинку стула, он сворачивал козью ножку, всем своим видом показывая, что пришли они сюда надолго и так просто не уйдут. Рядом с ним, переминаясь с ноги на ногу, стояли два наших квартиросъёмщика, приглашенных, как я теперь понимаю, в качестве понятых. Около их ног и ног солдата растеклись грязные лужи. Когда перепалка между чекистом и мамой приняла довольно острый

характер, один из понятых, известный в городе портной, Мицмахер, предварительно прокашлявшись, неузнаваемо хриплым голосом попытался подтвердить смерть отца. Однако чекист в грубых выражениях потребовал, чтобы он замолчал.

Между тем, мама, обычно такая робкая и боязливая, особенно когда речь заходила об НКВД, вдруг, наверное, сломленная всеми свалившимися на неё несчастьями, с отчаянной решимостью начала обвинять чекиста в бесчеловечности и жестокости. Все мы замерли в страхе. Но, к нашему удивлению и, очевидно, к не меньшему удивлению солдата, чекист молча достал из нагрудного кармана какие-то бумажки и показал их маме. Это были ордера на папин арест и обыск квартиры. От всего пережитого мне вдруг позарез потребовалось в туалет, но солдат меня не пропустил, и я, прыгая то на одной, то на другой ноге, так мучился, что потерял всякий интерес к происходящему. Спасти положение попытался все тот же Мицмахер, который с разрешения солдата принес мне из туалета горшок. К сожалению, было уже поздно.

Затем начался обыск. Носил он, по воспоминаниям мамы, несколько формальный характер и не отвечал сложившимся в то время стандартам. Оживился чекист только тогда, когда добрался до комода и в его ящиках увидел множество тщательно свернутых пакетиков, узелков и мешочков. Подумав, наверное, что в них хранятся списки тайных организаций, террористов или еще что-нибудь не менее важное, он начал развязывать бантики, которые в его неумелых для такой работы руках то и дело затягивались узлами. Он злился, рвал на очередном свертке крепкую тесемку, но, развернув его, в который уж раз обнаруживал только какие-то лоскутки, тесемки и ленточки. Притомившись, чекист пригласил на помощь второго понятого. В результате их почти двухчасовой работы весь пол вокруг комода был усеян лоскутами, из которых мама с таким искусством шила накидки на постели, коврики и дорожки. Ушли они, когда в окнах начал сереть рассвет. Теперь мы с тревогой и страхом встречали каждую наступающую ночь, думая, что придут арестовывать маму. В детской сдвинули две кровати, застелили их поперек, как одну общую, и ложились втроем. Посередине мама, по краям я и Ляля. Ночи проходили, как в бреду. Мы просыпались и вскакивали каждый раз, когда мимо дома проезжала машина или хлопала калитка. С той поры я еще долго боялся наступления ночи.

За мамой так и не пришли. Пришли за Петей. Его арестовали в Красном Куте 25 декабря 1930 года, за два дня до рождения Райнгольда (Гольди), так Эрночка назвала своего первенца. В те-

чение трех месяцев Эрночка с мамой обивали пороги тюремных канцелярий, ездили в Красный Кут, Покровск. Оказался же он в следственном изоляторе Саратова. С большим трудом удалось передать ему белье и кое-что из еды. Здесь же, в тюремной комнате свиданий, привелось ему в первый раз увидеть сына. Вернулся он летом и сразу приступил к работе в саду. И хотя был полностью оправдан, ничего не рассказывал о событиях, пережитых в застенках НКВД.

С отказом от НЭПа и началом массовой коллективизации резко усилился нажим на единоличников. Им, по сравнению с колхозниками, увеличивали нормы обязательных поставок государству, повышали ставки сельхозналога, снижали цены на сдаваемую продукцию. В результате резко возросло число безлошадных и однолошадных крестьян. Производство зерна стало резко сокращаться. С 1928 года страна жила по карточкам. Всё, что можно было взять из деревни в урожайном 1930 году, государство взяло. Весну 1932 года прожили впроголодь. Как только созрели первые колоски, матери голодающих детей по ночам стали выходить с ножницами в поле. Когда же началась уборка урожая, колхозники, боясь остаться после сдачи государству сельхозпродукции без хлеба, несли зерно в карманах и за пазухой. В ответ 7 августа 1932 года был издан закон об охране социалистической собственности, который в народе называли «законом о трех колосках». В соответствии с этим законом за сбор колосков применялся расстрел или лишение свободы на срок не менее 10 лет с конфискацией имущества. За 5 месяцев 1932 года было осуждено 55 тыс. человек, в том числе приговорено к расстрелу 2,1 тысяч человек. Среди осуждённых было много женщин. И всё же, несмотря на масштабы голода, за границу было вывезено 18 млн. центнеров зерна для покупки валюты на нужды индустриализации.

Зимой 1932 года на фоне «сплошной коллективизации» в стране разразился неслыханный для мирного времени голод. Он охватил примерно 25-30 миллионов человек. Это были зерновые районы Украины, Дона, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Казахстана.

Пытаясь скрыть масштабы трагедии, руководство страны запретило упоминать в средствах массовой информации о голоде. Нарушение этого запрета расценивалось как уголовное преступление, которое каралось 3-5 годами тюрьмы. Газеты выходили со снимками улыбающейся молодежи со знамёнами в руках, статьями о гигантских стройках пятилетки, о наградах ударникам. А в это время вымирали целые деревни, началось людоедство.

Волны раскулачивания, прокатившиеся по республике в 1930-32 гг., и засуха 1932 года разорили республику. В 1933 году, как когда-то в 1921-ом, вокзалы и рынки Саратова заполнили бегущие из деревень голодающие колонисты. Голод и репрессии привели к резкому сокращению количества жителей в республике. Так, если по всенародной переписи 1926 года в республике Немцев Поволжья проживало 650 тысяч человек, то в 1938 году их осталось всего 379 тысяч. Соответственно, в Черноморском регионе из 600 тысяч осталось 355 тысяч.

Материальное положение нашей семьи к 1932 году стало критическим. Существенно увеличились налоги на дачу, сад и домовладения. Учитывая доход, получаемый от квартирантов, размер пенсии сократили с 70 до 30 рублей в месяц. Мама понемногу начала распродавать имущество. Еще ранее, в 1929 году, сразу после смерти отца, она продала пчельник. Продажа эта была в какой-то мере естественной, т.к. некому было ухаживать за пчёлами. Потом был продан дорогой сервиз, наконец, очередь дошла до дома - нашего с Лялей родового гнезда. Почти половина полученных от его продажи денег ушла на ликвидацию долгов и оплату налогов. Оставшуюся часть прожили быстро. Переехав в дом, выходящий на улицу, мы заняли в нем две комнаты, одна из которых была проходной. В изолированной комнате – расположились Эрночка с Петей и Гольди, в проходной – мама, я и Ляля. Начался совершенно непривычный для нас образ жизни. Жизнь на виду у посторонних людей. Квартиранты, занимавшие две другие комнаты (в одной из них жили Мицмахеры), в любое время дня и ночи, идя на кухню, в ванную или туалет, вынуждены были проходить через нашу комнату. Не очень выручали и ширмы, которыми были отгорожены постели мамы и Ляли. Особенно переживала Ляля, которой исполнилось уже 16 лет.

Вскоре Эрночка с Петей и Гольди переехали на квартиру моего крестного - Карла Ивановича Штауб, заняв маленькую комнатку. Там у них родился второй сын - Адольф. Петя, имея в виду стесненные условия, писал: «Видел бы Адольф Федорович, какая страшная судьба у его любимой Эрночки». Сам Карл Иванович был профессором кафедры химии Саратовского университета. Его семья находилась с нашей в родственных отношениях, но в каких - я не знаю. Его жену звали Александра Ивановна. Была у них дочка моих лет, красивая лицом, но, как и Карл Иванович, сильно хромавшая. Мы у них бывали редко. От тех посещений у меня в памяти сохранился образ большой и почему-то всегда полутемной комнаты. Между окнами письменный стол, верх которого обтянут зе-

лѐным сукном с чернильными пятнами, настольная лампа с зелёным стеклянным абажуром и согнутая спина в коричневой бархатной куртке. При нашем с мамой посещении Карл Иванович ненадолго отрывался от работы, справлялся о делах семьи, здоровье, гладил меня по голове и, угостив конфетой, вновь сгибался над письменным столом. Мама, уединившись с Александрой Ивановной, вела с ней тихий разговор. А мне было очень скучно.

Освободившуюся комнату мама сдавала артистам цирка, который находился в двух кварталах от нас. Естественно, что в этих условиях я стал частым, а, по мнению мамы, слишком частым, посетителем всех новых цирковых программ. Яркость красок, динамичность действий, нервное напряжение, а еще больше наполненные тайной выступления фокусников завораживали меня. Возбуждённый, полный ярких впечатлений, возвращался я домой и долго не мог уснуть. Маму это стало тревожить. Кроме того, утомляла систематическая смена жильцов и их излишне шумное поведение. В результате в комнате появился новый жилец - инженер Саратовского радиоузла Владимир Плотников, молодой человек лет 23-х, стройный, по-военному подтянутый и энергичный. В мою задачу не входит подробное описание его внешности, поэтому ограничусь одним предложением: он был красив. Недаром Лялины подружки, которым в то время было по 16, 17 лет, дали ему прозвище «Красавчик». В ту же комнату мама в соответствии с договором «поселила» и меня. Насколько я понимаю, мама при этом стремилась решить две педагогические задачи. Во-первых, усилить мужское начало в моем воспитании и, во-вторых, заинтересовать меня профессией радиста.

Судя по всему, из этих двух задач лучше решалась вторая. Я с жадностью внимал Володиным объяснениям и вскоре под его умелым руководством приступил к сборке детекторного приемника. Теперь такие вещи делаются просто. Покупается набор, в который входят принципиальная и монтажная схемы, плата и все необходимые детали с метками, показывающими, что к чему следует припаивать. При этом нет никакой необходимости что-либо понимать в тех процессах, которые будут протекать в создаваемом приборе. Все очень просто, но мало интересно.

Мне же приходилось почти все делать самому: клеить основу для катушек; не сбиваясь со счета, виток к витку, мотать на них проволоку, покрытую зелёной шелковистой обмоткой; через определённое число витков делать отводы, крепить их к клеммам. А какого труда стоило закрепить катушку обратной связи, которая должна была свободно вращаться внутри основной (контурной).

Единственными фабричными деталями были наушники, конденсатор и детектор. Почему-то последний вызывал у меня особый интерес, наверное, из-за таинственно мерцающего кристалла, который в определенных своих точках обладал односторонней проводимостью. Точки эти приходилось каждый раз нащупывать пружиной, заделанной в стеклянную трубку.

Зато какой восторг испытал я, впервые услышав в наушниках голос диктора местной радиостанции. Потом в своей жизни я собрал много приёмников, сначала батарейных, а потом и сетевых, но чувство, которое я испытал тогда, в первый раз услышав шорохи эфира, остались в моей памяти навсегда. Однако были и горькие минуты. Помню, принёс мне Володя лимб - чёрную, в виде диска с белыми пронумерованными делениями ручку, предназначенную для вращения катушки обратной связи. Моей радости не было границ. И надо же было быть таким неловким. Когда я начал крепить лимб к передней панели приемника, он выскользнул из моих рук, упал на пол и разбился. Мне казалось, что никогда никакой радости у меня в жизни больше уже не будет. Чем только я не склеивал разбившуюся ручку, но она неизменно снова разваливалась. И эти попытки восстановить разрушившееся только затягивали мои переживания.

В начале наши отношения с Володией складывались более чем хорошо. Я угадывал любое его желание, а он придерживался отцовских интонаций. Но эта идиллия стала постепенно разрушаться по независящим от меня обстоятельствам. Между Володией и Лялей, которая к тому времени из вредной, постоянно дразнившей меня девчонки превратилась в симпатичную девушку, стали складываться особые отношения. Они часто ходили в кино, изредка в театр. Я, пользуясь правами брата и желая быть поближе к Володе, им постоянно мешал. Наши с ним отношения стали портиться. Кончилось всё довольно плачевно.

Собирался Володя построить телевизор. В то время не было ничего из того, что служит основой современного телевидения. Роль современного кинескопа выполнял диск Нипкова и неоновая лампа. Диск Нипкова Володя собирался выпилить из большого (метр на метр) листа эбонита, который он принёс с работы и поставил за шкаф. Я же в это время был одержим идеей постройки двухлампового батарейного приемника, для которого мне нужно было шасси. Как мне казалось, эбонит лучше всего подходил для этих целей. И вот от принесённого Володией листа я с большим трудом, с помощью лобзика отпилил нужный мне кусок. Когда Володя обнаружил испорченный лист, он страшно разозлился, зажал

меня в углу кровати и несколько раз ударил своим широким солдатским ремнём. Так со мной никто, никогда не обращался. Я был оскорблён. Но не знал, что предпринять. Жаловаться маме я не решился, да её и не было дома, не было и Ляли, на которую я перенес часть своей обиды. Глотая слёзы, выбежал я на улицу и пошел, сам не зная куда. Но постепенно мои чувства воплотились в конкретный план. Я решил ехать в сад. Была поздняя осень. Дача, конечно, уже заколочена. И ни в саду, ни поблизости, ни души. Но это меня не пугало. Главное, чтобы я исчез, и все меня жалели, а Володя раскаялся в своем поступке. Хотя нет, не надо. Пусть лучше все на него рассердятся и Ляля в том числе. Пожалуй, именно в этом заключалось все коварство моего замысла, моей мести. Я вошёл в полупустой трамвай, идущий в сторону дачных остановок, взял билет и сел у окна. И только тут вспомнил, что мне надо было идти в школу. Сначала я испугался, но потом решил, что это обстоятельство придаст всему случившемуся особую остроту. Ехать было далеко, постепенно нервное напряжение спало, и я начал критически оценивать ситуацию. Теперь я уже не был уверен в правильности своего поступка. Бить меня Володя, конечно, не имел права, в этом я был уверен, но ведь, уехав, я мстил не ему, а заставлял волноваться маму. Сосредоточившись на этой мысли, я представил, как она в слезах мечется по дому, а потом бежит в милицию. Когда я, наконец, вышел на нужной мне остановке, то был почти уверен в ошибочности своих действий.

Пройдя несколько десятков метров по знакомой тропинке, я остановился у опушки леса. Он был ярко расцвечен в жёлтые и красные тона, местами деревья стояли совсем голые, и их сломанные ветром ветви напоминали вывернутые в суставах руки. Из низины, которую предстояло пройти, тянуло сыростью и гнилью. И так мне стало одиноко, так сиротливо, так захотелось маминой ласки и успокоения, что я резко повернулся и, шурша опавшей листвой, побежал к идущему в город трамваю. Вскочив на подножку, вошёл в трамвай. На душе стало легко и почему-то вспомнилось, что сегодня мама варит любимую мною лапшу. Вагон был прицепной и без кондуктора. На передних сиденьях две старушки с ведрами. Воспользовавшись обстановкой, я спустился на подножку и, несколько откинувшись, стал смотреть, как из-под колес трамвая убегают рельсы. И вдруг удар, вспышка яркого света и чернота. Очнулся я внизу, под откосом. Наверху, не успев далеко отъехать от злополучного опорного столба, стоял трамвай и призывно звонил. Я встал, махнул рукой кондуктору и, с трудом переставляя ноги, пошёл в сторону виднеющегося вдали дома. Из-за поворота

просёлочной дороги выехала подвода и вскоре поравнялась со мной. Увидев меня, возница, придержав лошадь, крикнул: «Парень, кто это тебя так?». Только тут, дотронувшись до головы, я обнаружил, что волосы мои слиплись от крови. Мужик оказался на редкость отзывчивым: подвез меня к избе, помог умыться, а затем доставил к ближайшей остановке. Когда я вернулся в город, уже смеркалось. Однако домой я не пошёл, а пошел к Эрночке. Испуганная моим видом, она тщательно продезинфицировала изрядно разбитый затылок, израсходовав на это почти флакон йода. Чем закончилась эта история, как я встретился с мамой, а главное с Володей, вспомнить мне не удалось.

Теперь следовало бы рассказать об учебе и школе. Но как раз в этом вопросе у меня полнейший провал памяти. Я, безусловно, не относился к числу вундеркиндов. Более того, думаю, что страдал некоторой задержкой в развитии. Во всяком случае, говорить я начал позже своих сверстников, а читать научился только к шести годам. В детский сад не ходил. Готовили меня к школе родители. В это время я предпочитал рисовать и решать простейшие арифметические задачи в пределах двух десятков. Любил слушать, когда мама, Ляля и Эрночка поочередно читали вслух какой-нибудь роман. В школу меня отдали только восьми лет. Преподавание в ней велось на немецком языке. Там же в четвертом классе училась Ляля. Располагалась школа где-то рядом с немецкой улицей. Очень смутно помню огромное кубической формы фойе. Литая чугунная лестница вела на второй этаж. К фойе примыкал длинный, с голыми стенами коридор. Школу эту я не любил. Ходил без особой охоты, предпочитая заниматься дома, но за оценки переживал. По арифметике, как правило, получал «вполне удовлетворительно», тогда эта была самая высокая оценка. Но бывали и двойки, в то время писали «неудовлетворительно». Один такой случай помню отлично. Тонкая тетрадка в крупную клетку. Красными чернилами перечеркнутые примеры (было это в третьем классе) и размашистым, но аккуратным почерком выписанное «неудовлетворительно». Тетрадь жгла мне руки, и я не знал, куда её деть. Дома злополучную тетрадь спрятал на самое дно одного из ящиков комода. Потом, через несколько лет, она снова попала в мои руки, и я долго хранил её как память о своем детстве. Значительно слабее чувствовал я себя по языку, особенно после того, как в 1933 году школу сделали русской. По этому предмету у меня преобладали оценки «удовлетворительно».

Не было у меня в те годы и настоящих друзей, да и товарищей тоже. На переменах в коридоре я жался к стенам и с некоторым

страхом смотрел на бегающих, прыгающих, орущих и толкающихся ребят. Хорошо я чувствовал себя только дома, в кругу родных мне людей.

Жилось нам в эти годы от месяца к месяцу все труднее. Пенсии (40 руб.) и квартплаты от жильцов (60 руб.) хватало лишь на то, чтобы выкупить продукты, причитающиеся нам по карточкам. Но самих этих продуктов было слишком мало. Кое-что нужно было покупать на рынке. А вот на это денег катастрофически не хватало. Помню, как плакала мама, когда, принеся с базара маленькую бутылочку растительного масла, обнаружила обман. Бутылка была из темного стекла, и мама не заметила, что основным его содержанием была вода, а масло только в горлышке.

Чтобы облегчить наше положение, Лиза временно устроилась домработницей в семье какого-то партийного руководителя. А мама в июне 1932 года - на работу, сначала статистиком, а потом счетоводом. Получала 90 рублей в месяц. Жить стало немного легче. Но уже в январе 33 года её уволили по сокращению штатов, и опять ситуация стала критической.

Некоторое облегчение наступало летом, когда мы всей семьёй, включая Лизу, Петю, Эрночку, Гольди и Адюшу, выезжали на дачу. Здесь, по возможности отгородившись от обезумевшего, как нам казалось, мира, мы пытались реанимировать прошлое. Получалось у нас это плохо. Перемены в обществе и, главное, в нас самих были слишком значительны. На первый взгляд все было на месте: сад, дача, беседка, колодец, ряды деревьев, дорожки. Все было тем же и в то же время совсем другим. На всем лежала печать запустения. Деревья стояли с небелёными стволами, между рядья заросли травой, на скамейках облезла краска, на некогда пышных клумбах вместо цветов росли помидоры, а там, где недавно хозяйничали пчёлы, - картошка. За кухней паслись две козы и привязанный за ногу поросёнок. Его визг и хрюканье совсем не вязались с цветением сирени и диких каштанов.

К тому же было голодно, особенно в первой половине лета, пока не вызревали овощи и фрукты. Из Саратова вместо пышного, белоснежного Филипповского хлеба теперь привозили тщательно отмеренный по карточной норме, тяжёлый от сырости, с примесью отрубей чёрный хлеб. Варили суп из крапивы и щавеля. Пекли лепёшки на соли. Муку, по желанию, можно было взять вместо хлеба. Крупная соль заменяла масло. Её сыпали на сковороду и раскаляли так, что она начинала «стрелять», после чего клали лепёшку. Когда последняя подрумянивалась, соль стряхивали. Нам нра-

вились такие лепёшки, особенно если к ним был сладкий чай. Но это бывало не так уж часто.

Когда расцветала сирень и бульденеж, мама делала из них букеты и везла в Саратов на продажу. Это было страшно унижительно. Ведь при папе из сада не было продано ни одного цветка, ни одного яблочка. Но нужда брала за горло, и мама, сложив цветы в большую черную сумку, шла на Немецкую улицу в район Липок. Особым успехом пользовалась бульденеж - садовая декоративная форма калины, мелкие цветки которой сливались в шарообразные соцветия ярко-белого цвета, имеющие вид снежного кома. На фоне тёмно-зелёных листьев они смотрелись очень эффектно и вызывали всеобщее восхищение. Но торговать... Хорошо представляю себе состояние мамы. Два раза она брала меня с собой, и я видел, какой ценой давалась ей эта торговля. Однажды, когда вдаль показался кто-то из знакомых, она торопливо спрятала цветы и заулыбалась такой жалкой улыбкой, что мне захотелось плакать. Потом, подумав и как будто стряхнув с себя что-то гадкое, взяла меня за руку и стала читать свои любимые стихи. А знала она их много и могла читать долго. Одно из них «Воздушный корабль» я выучил здесь же на Немецкой улице. «Когда меня уже не будет, - сказала она, - ты прочтёшь его и вспомнишь меня».

Когда созревали овощи и фрукты, жить становилось веселее. Варили картошку и ели её с огурцами и помидорами. Яблоки выменивали на арбузы и дыни, которые росли на соседней бахче. Иногда на рынке в Саратове оптом продавали яблоки. При этом с удовольствием брали «Хорошавку», очень красивые, но не очень вкусные яблоки.

В это время, как и в прошлые годы, к нам на дачу приезжали родные и знакомые. Здесь мы познакомились с Петиными сёстрами: Тёклой и Лидой. Они очень плохо говорили по-русски, и было забавно слышать, как они коверкали самые простые слова. Постоянно гостила у нас какая-нибудь из Лялиных подруг. Я любил крутиться около них, и был им чем-то вроде пажа.

Вместе с тем последняя осень принесла и новые тревоги. По ночам, а иногда и днем, из соседних деревень (Поливановки и Разбойщины) приходили угрюмого вида мужики с мешками и, почти не скрываясь, трясли яблони. Потом, обзвав нас зажавшими буржуями и пообещав сжечь наше «буржуйское гнездо», уходили, унося на согнутых спинах набитые яблоками торбы. Жить на даче стало опасно. На семейном совете было решено: пока не поздно, продать сад и дачу. Здесь же родилась более радикальная идея: переехать из Саратова в Тамбов, где, как рассказывали

очевидцы, жизнь была намного дешевле, и где на рынке можно было по сносной цене купить молоко, сметану и яйца.

Предстоящая разлука с садом внесла в нашу жизнь сильную минорную ноту. Что бы мы ни делали, с чем бы ни соприкасались, все время приходило в голову, что, возможно, делаем это в последний раз, что кто-то другой будет ходить по этим дорожкам, есть эти яблоки, рвать эти прекрасные цветы.

Сад продали осенью 1933 года за смехотворно низкую цену, а летом 1934 года мама со мной и Лялей выехала в Тамбов.